



СКАЗКИ НЕ ПРО ЛЮДЕЙ

АНДРЕЙ СТЕПАНОВ

Современная русская проза

импринт

КОМАРОВО

Андрей Степанов

Сказки не про людей

«Издательские решения»

Степанов А.

Сказки не про людей / А. Степанов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-857674-4

Прочитав эти мудрые сказки «не про людей», хочется сказать себе: будь человеком. Надевая костюм, не забывай, что и костюм надевает тебя. А если твоя собака заговорила, не торопись ее прогонять. И хотя бы иногда думай о вечном. (Сергей Носов)

ISBN 978-5-44-857674-4

© Степанов А.
© Издательские решения

Содержание

Жар-птица	6
Внутренний мир	17
Барсучья нора	25
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Сказки не про людей

Андрей Степанов

«Комарово»

Импринт Андрея Аствацатурова

© Андрей Степанов, 2017

ISBN 978-5-4485-7674-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Жар-птица

Жил-был при матушке Екатерине попугай Филюша, птица тогда редкой, а ныне и вовсе вымершей породы ара триколор. Головку имел небольшую, с небесно-синим хохолком, оперенье – снежно-белое, а хвост обширный, пышный, цвета гоголь-моголь с вишней, как бывает зимний закат над Невой. Поднесли диковину российской Семирамиде послы полуденных стран, а каких – то государыня за недосугом как-то не изволила запомнить. Был поглажен августейшей ручкой, назван душкой и помещен в главный дворцовый попугайник под присмотр коллежского секретаря Лебедева. Велено было коллежскому секретарю обучить дикую птицу российскому наречию купно с галантными манерами, привить ей веселый нрав и представить пред царские очи уже довольно просвещенной.

Способности Филюша выказал изрядные, обнаружил и упорство, и прилежание, ну и Лебедев старался. Языку обучал по «Большому словарю драгоценностей», чтоб изъяснялась птичка на манер маркизы де Рамбуйе, грубых слов в клюв отнюдь не брала, а вместо «хвост» говорила бы, к примеру, «управитель небесных полетов». По части же философической штудировал Филюша большую энциклопедию наук, искусств и ремесел – тоже французского живого ума изобретение. А еще, чтобы повеселить матушку, обучил коллежский секретарь Филюшу браниться на всех языках – на всех, кроме русского, ибо знал, что русское соленое словцо терпит государыня только от Льва Александрыча Нарышкина, да и то не каждую неделю.

Вот уже прошло полгода, и давно все было готово, однако пред светлые очи никто не звал – запамятовали государыня. Филюша по целым дням прихорашивался, чистил перышки, готовясь к великому дебюту, да рассуждал вслух на разные голоса. А Лебедев прохаживался вокруг золотой клетки, слушал прекрасномудрые речи, поправлял ученика да мечтал о награде.

Но в один вечер все переменялось. Вдруг широко распахнулась в попугайник дверь, и предстал на пороге собственной блистательной персоной Лев Александрыч Нарышкин – всех российских царей свойственник, всех российских орденов кавалер, обер-шталмейстер и преемственный забавник.

Войдя же в птичье помещение, сразу прикрыл длинный нос свой надушенным платком с монограммой, а в платок недовольно буркнул:

– Вонюха! Как на конюшне, мерд!

Коллежский секретарь Лебедев, услышав такое французское слово, мигом изогнулся до страусиной позиции – зад на вершок повыше головы – да так и замер, а руки растопырил испуганно. Глядя на него, замерли на одной ноге павлины, окаменели фазаны и разом прервали свои беседы все триста государственных попугаев. Наступила тишина мертвая, звенящая, зловеющая, какая бывает только перед божией грозой да излияньем вельможного гнева.

Гнев, однако, медлил. Лев Александрыч фигуру Лебедева узрел и обратился прямо к ней:

– Вонь, говорю, у тебя тут, как в стойле. Во что дворец превратил, авортон?

От второго французского слова ревнитель просвещения руки развел еще шире, а голову склонил ниже некуда. Тишина же продолжалась.

И тут, как гром с ясного неба, раздался голос. Да не чей-нибудь, а точь-в-точь самого обер-шталмейстера, со всеми его носовыми переливами:

– Не вонь, – сказал голос наставительно, – а одеколонь кор-ромпю!

И прибавил мягко, с чудным французским прононсом:

– Ва-тан о дьябль, пютэн!!

Лев Александрыч, несколько позеленев, правой рукой ухватил лебедевскую голову за косицу, а левой вздернул за подбородок.

– Ты что это, дразнить меня вздумал, курошуп?

В ответ немедля раздался тот же учительный голос с вельможным переливом:

– Не курошуп, но наставник пер-рнатых!

И прибавил – отчего-то по-немецки:

– Тойфель нохмаль, анцугаффе!!

Увидев, что птичий секретарь глазки поросячьи жмурит, щеками синеватыми дрожит, но рта нимало не разевает, Лев Александрыч неповинную голову отпустил. Огляделся, ища охальника.

Тишина стояла, как и прежде, гробовая, неподвижность пребывала, как на живой картине. Но одно пятно гармонию нарушало – и цветом, и почесыванием. Лев Александрыч сделал к пятну два шага и углядел наглого вида попугая в золотой клетке. Диковинная птица распушила огненный хвост, синюю голову склонила набок и, высунув толстый язык, косила на его высокопревосходительство глазом без всякого решпекта.

– Так это ты, урод, меня поучаешь? – изумился вельможа.

Птица язык убрала.

– Не урод, а пр-ревратность природы!

И прибавила, на этот раз по-испански:

– Саперлипопет!!

После чего высунула поганный свой язык обратно.

– Эй ты, как тебя бишь, Лебезяев, поди сюда! – обернулся Лев Александрыч к гнутой фигуре.

Коллежский секретарь приблизился на цыпочках, взмахивая руками, как крыльями.

– А скажи, любезный, что это за превратность природы у тебя тут? На меня карикатур?

– Как можно-с! – воздел крыла Лебедеев. – Ваше высокопревосходительство, Лев Александрыч, не губите! Птичка эта особенная, по августейшему повелению берет курс риторических и философических наук-с. Отец родной, войдите в положение!

– По августейшему? Да ты не врешь?

– Точно так-с. Самолично приказать изволили птаху малую просветить. Да только потом про нас забыли-с!

И Лебедеев всхлипнул.

Обер-шталмейстер посмотрел на риторического студента повнимательнее, а Филюша приосанился и переложил язык на другую сторону клюва.

– Так-так-так... Стало быть, тебе велели заморскую птицу просветить, – заговорил Лев Александрыч вкрадчиво, – а ты ее браниться обучил и особ первых двух классов их же голосом лаять... И льстишься теперь таковую забаву государыне представить, чтобы вельмож в шпыней обратить, а самому вознестись превыше пирамид. А не думал ли ты, Лебезяев, что урод твой, то бишь превратность природы, может и на его величество клюв свой разинуть? А не бунтовщик ли ты, птичий наставник?

От последнего вопроса Лебедеев вострепетал всем нутром, словно воробышко, залетевший сдуру в орлиное гнездо.

– Как можно-с! Как можно-с! – залепетал он. – Смилуйтесь, ваша светлость! Птичка редких качеств, и говорит изысканнейше! Речения все отобраны элоквенции профессором Волк-Лисовским по драгоценному словарю маркизы де Рамбуйе-с. А ругается для ради юмору, по-европейски! Токмо по-европейски! Российской грубости на дух не переносит, не так воспитан!

– Вот оно, значит, что. По-европейски... А отчего особ не признает?

– Как не признавать! Как не признавать!

– Да ты не кудахтай. Ты дело говори.

– Лев Александрыч! Для юмору, для юмору птичка на разные голоса говорит! Вам ли юмору не понять! Вот, извольте послушать.

И Лебедаев обернулся к питомцу:

– Проси, Филюша, прощения у его высокопревосходительства господина обер-шталмейстера!

На что попугай отвечал голосом тонким – отчасти лебедаевским, а отчасти все ж таки наглым:

– Главноначальнику колесниц пр-риношу сожаление за наступление на р-раковины слуха! Как можно-с!

А в конце не удержался, добавил:

– Хозеншайзер!

Лев Александрыч усмехнулся краем тонкого рта:

– А хозеншайзер-то, Лебезяев, это ты. В штаны, говорит, наделал мой наставник, штраус толстопузый. Однако, мнится мне, у птицы есть разум...

– Есть, ваше высоко... есть! – аж захлебнулся от радости Лебедаев. – Не позволит с самодержией грубости! Только, Лев Александрыч, то не разум, то рассудок. Вот и Гельвеций, высокий ум, говорит: в бездушном естестве, говорит, разума нетути, и оттого птицы небесные...

– А вот от мудрований своих ты меня, братец, избавь. Мне по должности своей спорить с тобой не пристало. Твоя часть попугайная.

От таковых слов увял Лебедаев, замолк и на всякий случай согнулся в полстрауса. Лев же Александрыч о чем-то глубоко задумался, а глядел при этом на Филюшин огненный хвост. В конце размышления сделал коллежскому секретарю уходительный жест:

– А ну, выйди-кось! Мне с твоим мираклем потолковать надо.

Два часа вел вельможа беседу с чудной птицей, но о чем – того Лебедаев так и не узнал. Ходил кругами за дверью, вождедел подслушать, к замочной скважине припадал, но ухо сей же секунд отдергивал, будто от сковородки. Наконец вышел главноначальник колесниц – довольный, на желтом лице даже румянец пробился.

Сказал раздумчиво:

– Завтра за куафурой государыне покажу... И запомни, Лебезяев: это я его учил, не ты. Помолчал и добавил грозно:

– Хвост его береги! Да смотри у меня, чтоб без фокусов! Все твое воронье гнездо распатрону! В Сибирь поедешь, галок обучать!

Оглядел страусиное мелкое дрожание и добавил с усмешкой:

– Хозеншайзер!

* * *

Утром следующего дня венценосица-порфириносица, помазанница-царица, государыня и самодержица Екатерина Алексевна облачились в градетуровый капот и отправились делать куафе. В малой туалетной, она же бриллиантовая, комнате присутствовал, как обычно, лишь Александр Васильич Храповицкий, что определен состоять при собственных ея императорского величества делах и у принятия подаваемых ее величеству челобитен. И только приступил к волосочесанию куафер-прихмахер в чине полковника, Николай Семеныч Козлов, как доложили о господине обер-шталмейстере.

Левушку-проказника государыня в любое время принимали. Любили начать день с левушкиной шутки – от этого, говаривали, весь день потом легок. Однако же влетевшего его спросили для порядку:

– Что, Левушка, не спится? Рановато меня посетить решил.

На что Лев Александрыч отвечал не на обычный гаерский манер, а высокаторжественно:

– Не до сна, ваше императорское величество! Летел на крыльях быстрее самого Эола, поелику спешил повергнуть к августейшим стопам залог вечного благоденствия для будущей России!

Государыня весьма удивилась и даже обеспокоилась:

– Вечного благоденствия? Да ты здоров ли, Левушка? Да что ж это за счастье такое, и когда оно наступит?

– А сие теперь зависит от одного только желания вашего величества!

– Гм. А мне-то мнилось, что оно уж давно от меня, вдовы, зависит. Однако что за залог-то, Лев Александрыч? Давай говори, не томи.

– Чудо чудное открылось, матушка, миракль фабулё!

– У тебя всякой день чудеса. Да говори ты, тут все свои!

Лев Александрыч надул щеки, выкатил глаза, вдохнул чуть не весь воздух в бриллиантовой, а потом и выпалил:

– Жар-птица, ваше величество!

Государыня ахнула и поглядели на него с сочувствием.

– Ты, Левушка, должно быть, кутил всю ночь, бедный, а ко мне пожаловал в деменции... – сказали, покачав головой. – Жар-птицы – это в русских сказках бывает.

Однако Лев Александрыч не смутился.

– В царствование Екатерины Премудрой все сказки былью обернулись! А извольте-ка бросить взор, ваше величество!

С этими словами чудотворный шталмейстер хлопнул в ладоши, и высокие двери распахнулись настежь. За дверями обнаружили два дюжих лакея, еле державшие высокую золотую клетку, изукрашенную изумрудами и рубинами. А в самой серединке радужного блеска, на палисандровой жердочке, подбоченясь крылом, сиял довольством и всеми своими кулёрами наш Филюша.

– Сей есть Филюша, а полным именем нареченный Фелицитат, – тут Лев Александрыч сделал значительную паузу, – что означает счастье приносящий.

Государыню, однако, блеск не ослепил.

– А ведь где-то я пичугу эту уже видала... – молвила она в задумчивости.

– Так точно, видали-с, – вмешался тут господин Храповицкий. – Поднесена прошлым летом иноземными послами, а вашему величеству было угодно приказать, чтоб дикаря сего просветили-с.

– Ах, вот оно что... А ведь верно! В попугайник отдано. А ты-то, Левушка, тут при чем? Нешто ты теперь по птичьей части просветитель? Мы ведь тебя вроде как в обер-шталмейстерском звании к лошадям ставили.

– Ваше императорское величество! С первого же взгляда прозрел я в сем красавце неоткрытый кладезь и решил про себя – потружусь для блага отечества! Ночей не спал, полгода учил наукам – и вот ныне слагаю ко стопам. Да вы поставьте клетку-то, остолопы!

Лакеи с облегчением повергли клетку к царским стопам – так, что Филюшина наглая личность оказалась аккурат насупротив бирюзового августейшего взора. Взор же был благосклонен.

– А какой пестренькой-то! – разглядев, умилилась царица. – Попочка, хочешь орехов?

Филюша выкатил белоснежную грудь круглей кавалергарда и отвечал голосом звонким и раскатистым:

– Благодар-рствую, что привели меня в сопр-рикосновение с моим желанием! О, пор-рка мадонна, как же я хочу ор-рехов!

Изволили смеяться.

– Дать! Дать орехов! Заслужил. Эх у него язык-то повешен! Парень бойкой. А где ж он взрос, Левушка? Нешто он итальянец?

Лев Александрыч еще меньше самого Филюши знал, откуда тот родом, однако отвечал без смущения:

– Птица чудотворная, небесного града житель! А где пойман, матушка, то значения не имеет. Важны лишь достоинства его воистину неисчислимы!

– А ты исчисли, исчисли!

– Да вот, для примера, взять хоть умственность. Знает абевегу, сиречь алфавет, говорит непотребные слова на осьми языках, да все к месту, обожает орехи и печенье, а пуще всего способен к философическому диспуту.

Филюша на все это благосклонно покивал и, отставив крыло в сторону, изящно поклонился.

– Достоинства изрядные, – кивнула в ответ государыня. – Вот, глядишь, мне и поговорить тут будет с кем. Однако ж надо его испытать...

– Р-разумом измеряйте! – встрял Филюша.

– Гм. Разумом... С чего бы нам начать-то, а?

– А с философических наук и начните, ваше величество! – подсказал господин Храповицкий.

– С философических, вы говорите? Ну-тка, попробуем... А скажи-ка мне, птичка божия, в чем корень всякия добродетели?

Филюша глянул на Льва Александрыча, а потом отставил одну лапку, приложил крыло к груди и продекламировал звучно:

– Живи и жить давай др-ругим, но только не на счет др-ругого! Всегда доволен будь своим, не тр-рогай ничего чужого...

И поклонился, прикусив язык, чтобы ничего не добавить.

Государыня изволили даже и крикнуть:

– Кгм! А птица-то и вправду философ. Господин Храповицкий, вы эту мысль занесите в памятную книгу, мы к ней еще возвратимся. А теперь скажи мне, Левушка, не подучил ли ты его? Ты ведь знаешь, что я превыше всего ставлю импровизацию.

– Как можно! Птичка своим умом дошла.

– А вирши? Неужто он и стихосложению обучен?

– Талант от самой натуры, ваше величество!

– Натур-ра натур-рата! – снова встрял Филюша. И прибавил: – Ор-рехов дайте, заслужил!

У государыни в глазах зажегся аметистовый огонек, который при дворе увидеть всякий мечтал. Означал тот огонек верный фавор.

Орехов было дадено вдосталь, и заканчивали государыня волосочесание уже в полном благорасположении. Филюшу велела из клетки немедля выпустить, дабы такой ум в неволе не томился, а порхал повсеместно.

Пернатый философ полетал туда-сюда, скептически покосился на малую и большую короны, с одобрением – на бюст Волтера, а потом уселся на этот бюст и принялся покудова за орехи.

Наконец Николай Семеныч в последний раз коснулся расческой воздушной матушкиной куафюры, вложил туда бриллиантовый гребень, поклонился, и государыня встали. В тот же миг господин Храповицкий по заведенному порядку положил на письменный столик стопку указов на подпись.

Государыня принялась за труды. В начале у ней завсегда добрые дела шли.

– Ну, Александр Васильич, докладывай, кто более всех в нашем внимании нуждается?

– Челобитная, ваше величество, от обер-офицерской вдовы Куцапетовой. Просит о вспомоществовании, с осьмнадцатью детьми одна осталась, горемыка.

Матушка потянулись было к гусиному перу, но в этот момент Лев Александрыч незаметно щелкнул тонкими пальцами. Филюша тут же взмыл в воздух, камнем упал на челобитную, повернулся к царице задом и выставил красное перо.

– Что сие значит? – спросила государыня.

– А сие, матушка, значит, – торжественно ответил Лев Александрыч, – что птичка перо свое не жалеет для ради человеколюбия. Дергай да подписывай!

Екатерина Алексевна прослезилась, протянули ручку, ухватили жар-птицу за хвост, дернули – и подписали.

И с того дня и до самых до в бозе кончины подписывала матушка-государыня все милосердные указы свои только рулевым попугайным пером.

Кончилось все ко всеобщему удовольствию. Филюше определили состоять при особе государыни в должности Собственной Ея Величества Жар-птицы. Льву Александрычу даровано было две тыщи душ за труды. И про Лебедяева вспомнили: пожаловали ему звание птиц-директора и табакерку с мопсами, табакерке же цена пятьсот рублёв.

* * *

С того самого утра вошел Филюша в небывалый фавор. Клетка золотая весь день напролет стояла открытая – летай, где хочешь, а он все норовил поближе к матушке. Бывало, сидит на августейшем плече и вдруг: «Молочка!» Берет государыня мейсенский молочник, собственной своей белоснежной ручкой наливает ему в золотое блюдечко, так он еще, шельма этакой, капризничает. Голову вот так набок склонит и – «Вкусно?» – спрашивает. Улыбнутся Екатерина Алексевна жемчужной улыбкой и отвечают ласково: «Вкусно, милый!»

А то, бывало, сидит на окне грустный и на невольский закат смотрит.

Государыня беспокоятся:

– Что-то, – спрашивают, – мой Филюша все в небеса глядит?

А Лев Александрыч тут как тут:

– А тошнота у него, матушка, по своей сторонке, сиречь ностальжи.

Матушка вздохнут и скажут:

– Отпустить бы тебя, Филюша, на цветущий луг. Вот ты ужотко дождись, весна придет, в Сарское поедем...

А Филюша в ответ:

– Не на луг, а в пер-рнатый парадиз!..

Ее величество засмеются, а он добавит:

– Сир-речь в небесный гр-рад, порка мадонна!

– Отрада моя... – государыня говорили.

Все придворные Филюшу усердно обожали. Только один генерал худощавый, тоже с хохолком, все недоволен был: «Птиц, – говорит, – мы тут разных видали. Только раньше все павлины командовали, а теперь и до попугаев дошли». Матушка его за эти слова в дальний поход услала. А один прекраснотупый молодой человек, пред которым даже и камергеры гнулись на страусиный манер, заметил лениво: «Туды ему и дорога, чтоб нашего Филюшу не обижал». На это государыня ничего не сказала, только улыбнулась. Однако в другой раз даже и его оборвала. Принес орехов полные карманы и кричит на весь Эрмитаж:

– Филюша! Вазиси!

Государыня бровки насупили и сказали наставительно:

– Это, друг мой, птица разумная, а не моська.

Все Филюшу за мудреца почитали. А академии де сиянс директор, княгиня Катерина Романовна, приказала извять Филюше на свой счет беломраморный бюст и поставить в Эрмитаже насупротив шеренги римских кесарей. Филюше собственный истукан по нраву пришелся,

восседал на нем по вечерам с гордым видом, а вот на тиранов человечества частенько гаживал и при том ругался по-французски.

* * *

Но фортуна изменчива, об этом и Волтер, великий ум, писал. Настал для Филюши, а с ним и для всей России, черный день.

Накануне матушка небережно поужинали и потому были не в диспозиции, прохлаждались лимонадом. А пуще всего беспокоились насчет парижских известий про жакобэнские кошмары.

– Что из адова пекла-то пишут? – спрашивали. А узнав, что пишут, волновались еще больше.

Лев Александрыч, не зная, как матушку развлечь, напустил в Эрмитаж простонародных музыкантов. Дудели в дудки, свиристели в свирели, били в тамбуры и бубны. Но музыку государыня не сильно обожала, так что у ней ко всему еще и голова разболелась.

Тогда прибег Лев Александрыч к последнему средству – пошептался с Филюшей.

Филюша же вспорхнул царице на плечо и потребовал:

– Молочка!

Государыня улыбнулись сквозь мигреневые слезы.

– Один ты меня любишь, – говорят.

Велела подать молочник, стала лить в блюдечко.

– Вот, Филюшенька, пишут из Парижа, что разорили злодеи королевский зверинец. Все им мало, злыдням! Доброго и невинного короля убили, голов настригли, что капуста, а теперь и за бессловесных тварей взялись.

Говорено сие было с жаром и чувствительностью.

Филюша же покосился на матушкину ажитацию и вдруг как ляпнет:

– Нар-род пр-росвещать надо!

От этих слов сразу сделались матушка дезаншанте. Губки подобрали и молвили:

– Однако вижу, Филюша, не так-то ты и умен. От просвещения жакобэнская зараза и народилась. Вот мои добрые мужички, хоть и непросвещенные, да зато на французских каналий ничуть не похожи.

Филюша покосил другим глазом и вдруг спросил ехидно:

– А Пугач?

Имени этого государыня никак слышать не могли – худо делалось. Вот и сейчас за сердце схватились.

– Охти мне! – возопили. – Гидра-то наглеет с каждым днем, вот уже и до дворца добралась. Серный запах чую! Да кто же ты таков, Филюша? Друг ли ты мне?

– Аз есмь др-руг человечества! – отвечал Филюша гордо.

Тут генерал с хохолком вмешался, он недавно из похода пришел:

– Матушка, – говорит, – не слушай попугаев! Твоя правда, дольше терпеть нельзя. Дозволь мне выступить супротив бесштаных каналий!

Государыня поглядели на Филюшу, прослезились и кивнули согласно.

– Поход тот решен, – говорят. – Подать мне красное перо!

Филюша, как змеей ужаленный, взвился под самый потолок, оседлал люстру, да как гаркнет оттуда:

– Кр-ривдой пр-равду не исправишь!

От такового глупого сужденья сложили Екатерина Алексевна губки трубочкой и протянули совсем без сил:

– У-у, жакобэн... Ловите птичку!

Началась суматоха. Кто лестницу тащил, а кто сразу и клетку. Филюша же, воспарив надо всеми, крутился, как огненный шар, и кричал – звонко, пронзительно, что хватало птичьих силёнок:

– Либер-рте! Эгалите! Фр-ратер-рните!

А потом воздуху набрал побольше и прибавил совсем страшное:

– А тир-ранам – ля морт!

Гром и молния! От последнего слова все замерли, а государыня вдруг стала белой, как мейсенский молочник. Икнула – и на том кончилось и ее житие, и Филюшин фавор.

* * *

Время погода при новом императоре стали дознавать обстоятельства: не было ли умысла? Арестовали сгоряча Филюшу, но потом опомнились – с птицы-то какой спрос? Принялись тогда дознаваться, кто подучил. Все отговаривались, что и слов-то таких не знают, а Лев Александрыч всю вину валил на Лебедяева, как на мертвого. Государь Павел Петрович, он отходчивый был. Поначалу велел всех в кандалы и пешком в Сибирь, а попугая в чучелу обратить. Но после приостыл и оказал милосердие. Велено было попугайник распустить, птиц-директора прогнать взашей, а обидное пернатое отдать назад отставному теперь обер-шталмейстеру, запереть в темном чулане и кормить там конопляным семенем, доколе своей смертью не умрет.

Филюшу вместе с клеткой отнесли в потайную кладовую в нарышкинском доме – и задули свечу.

* * *

Холодной зимой 1917 года в кладовку внесли зажженную свечу. Филюша открыл один глаз и увидел лысого дядьку в кожанке.

– Ты кто? – спросил незнакомец простонародным голосом.

Филюша открыл второй глаз, распрямился так, что хрустнули старые косточки, и ответил – хрипло, но гордо:

– Др-руг человечества!

Мужчина удивился:

– Ёптеть! Попугай говорящий!

От русского соленого словца Филюша нахохлился и гаркнул:

– Жар-р птица! Жар-р птица! Р-разумная!

И добавил скороговоркой – непонятное, но обидное:

– Шайзе тойфель пер-ркеле нохмал! Шанглот намудах, говядина!

Кожаный дядька сперва раскрыл рот от изумления, а потом вдруг расплылся в беззубой улыбке. Из нетопленных глубин разоренного дворца донесся еще один голос, погуще:

– Микола, ты чего там вошкаешься? Нашел кого?

– Тут, товарищ Рыбов, попугай говорящий с синей мордой. Ругается не по-нашему, буржуйская тварь. Я, говорит, жар-птица.

В дверном проеме возник еще один лысый субъект – точно такой же, как первый, только в два раза шире и с моржовыми усами.

– В бога мать! – ахнул он. – Клетка-то – целый клад! С камнями! И попугай как из сказки... А может, мы и правда жар-птицу накрыли, а, Кубышкин?

Первый, однако, усомнился:

– Для жар-птицы маловата будет, товарищ Рыбов.

– Может, птенец? – почесал лысину комиссар.

– Да, видно, молодой еще...

Помолчали, любуясь сверканием камней и огненных перьев.

– А что, товарищ Рыбов, – спросил младший, – правда, что от жар-птицы, от ней прикуривать можно?

– Предрассудок. Хотя давай, попробуй.

Кубышкин поставил свечу поближе к клетке, достал сигарку и ткнул ею Филюшу в хвост. Филюша сперва оторопел от такой наглости, а потом извернулся и клюнул чекиста в палец.

– А-а, гадло! – взревел тот, отдергивая руку.

– Что, не горит? – поинтересовался комиссар.

– Чего? А... Нет, не горит, товарищ Рыбов, – отвечал раненый, засовывая палец в рот. – Не волшебная птица, это точно.

– А я тебе сколько раз говорил: чудеса попы придумали, чтоб народу глаза запорошить.

– Так оно и есть, товарищ Рыбов.

– А коли не волшебная, то спрашивается: на кой хрен она нам сдалась? – поразмыслил вслух начальник.

– Вот и я так же думаю. Что с ним, разговоры разговаривать?

– Пролетариату нынче болтать некогда, тут ты прав, товарищ Кубышкин. Но пользу буржуйское имущество приносить должно, это ты тоже учти.

– Да какая с него польза? Шею ему свернуть, вот и будет польза. У, гад! Чем я теперь на курок нажимать буду?

Комиссар ничего не ответил. Он стоял глубоко задумавшись, а глядел при этом на Филюшин огненный хвост.

– На перья его пустим! – решил он наконец. – В коммуне недостача писчего матерьялу, пуцай послужит трудовому народу.

– Точно! – согласился Кубышкин. – Будет знать, как клюв распускать. А с клеткой-то чего? Клетка-то важная. Ишь, как блестит...

– Клетку вместе с гадом реквизируем. Пиши протокол, я тебе диктовать буду.

– Так у меня ж палец... И грамоте я не очень, товарищ Рыбов. Уж лучше вы сами...

– Ну, ладно!

* * *

«Председателю ВЧК тов. Дзержинскому.

Сего 8 декабря я, уполномоченный Рыбов Н. Г., производя остаточную реквизицию в особняке бывших Нарышкиных, открыл особую в стене кладовую, где обнаружена мною спрятанная буржуазией клетка золотая с выгибонами одна, а в ней драгоценных камней на глаз штук восемьдесят, посередине которых сидела ненормальная птица с синей мордой и красным хвостом, по виду попугай или вроде птенца жар-птицы. На вопрос кто таков отвечал, что друг человечества, а потом еще по матери нас послал не по-русски. Явный враг, кидался на тов. Кубышкина при исполнении, но может, правда, чудо какое, вы, тов. Дзержинский, его допросите, вам оно виднее, а ежели не чудо, думаю надо его на перья пустить...»

Товарищ Дзержинский оторвал усталые глаза от протокола и посмотрел на сидящую перед ним на палисандровой жердочке арестованную жар-птицу.

– Ну, и кто же вы на самом деле, друг человечества? – спросил он саркастически.

Филюша выпятил кавалергардскую грудь и, подняв крыло, с большим чувством осенил себя крестным знаменем. А потом отвечал голосом звонким и раскатистым:

– Аз есмь небесного града горожанин, а ты бич божий и адова кобылка!

Тусклый взгляд председателя ВЧК оживился зеленым огоньком.

– Так-с. Знакомые песенки. Значит, прав Гаврила Рыбов: враг вы явный и чувств своих не скрываете. А кто ж вас так хорошо говорить научил?

– Славься сим Екатерина!

– Это какая же Екатерина? Фамилия, адрес.

– Великая, пся крев дупа!

От польских слов товарищ Дзержинский приоткрыл было рот, но усилием железной воли тут же и защелкнул. Подумав немного, выложил на стол револьвер. Спросил тихо:

– Стало быть, вы птица бессмертная?

– Все мы смертны, – ответил Филюша серьезно, не отводя взгляда.

– Но все-таки – волшебная или нет? Жар у вас из хвоста пышет? Признавайтесь. Вы должны разоружиться перед победившим пролетариатом.

Филюша посмотрел на оружие, почесался и ответил:

– Пышет. Держи перо. Р-разоружаюсь!

Всесильный чекист взял в левую руку револьвер, а правой приоткрыл дверцу и осторожно, чтобы не обжечься, полез внутрь клетки. Филюша повернулся к дрожащей руке огненным хвостом. Задержал дыхание, прощаясь мысленно с матушкой.

И нагадил полную жменю.

С выражением гадливости на тонком лице товарищ Дзержинский захлопнул клетку, вытер руку о френч и поднял оружие. Филюша выпрямился, как оловянный солдатик, и бесстрашно посмотрел в глаза своей смерти.

Смотрели друг на друга, не моргая. Потом у железного председателя вдруг дернулась борода, задрожали бескровные ноздри, и он отступил на шаг назад. Отбросил револьвер, прошелся несколько раз по кабинету, как по камере, поворачиваясь у самой стены, а потом решительно шагнул к клетке. Выволок Филюшу наружу, одним махом выдернул из хвоста перо, макнул в чернила и застрочил поверх рыбовского протокола:

«Повесить рядом со мной до особого распоряжения.

Дзержинский»

* * *

Повесили Филюшу в плетеной клетке на окне в последнем этаже дома на Гороховой. Посмотришь налево – виден тифозный закат над Невой, посмотришь направо – виден багровый дворец, где провел он счастливую юность. Утром и вечером давали подмокшего хлеба, а на ночь закрывали пыльным шлемом, чтоб не орал. Орать же было от чего: сны старому попугаю снились тяжелые.

Очнувшись посреди ночи от кошмаров, он сразу попадал в крошечную тьму, окруженную целым морем звуков. Дребезжали телефоны, матерились матросы, гудел во дворе мотор, глуша выстрелы. А из соседней комнаты неслись чьи-то нутряные вопли и чеканные вопросы председателя:

– Я тебе дам «штук восемьдесят»! Кто рубины в клетке ковырял? Говори!

Филюша закрывал голову крыльями, но это не помогало. Впервые за двести лет ему совсем не хотелось жить.

Читал про себя вирши:

*Живи и жить давай др-ругим,
Но только не на счет др-ругого...*

Но от стихов делалось еще хуже.

Только под самое утро все стихало. Арестованных убирали вниз, в тюрьму, комиссары были еще на обысках, а прочие сотрудники падали с глухим стуком на пол и засыпали часа на два. Замолкали телефоны и захлебывался, наконец, проклятый мотор.

В один из таких звенящих тишиной предутренних часов с Филюшиной клетки вдруг сдернули шлем. Попугай вздрогнул и развернулся на жердочке. Прямо перед ним белело в неверном законном свете и без того бледное лицо председателя. Странно, но Филюше показалось, что бич божий улыбается.

– Хотел посмотреть, не приснились ли вы мне, – сказал чекист как бы про себя. – Хотя какой тут сон, когда я теперь все расстрельные указы только вашим пером и подписываю...

Он замолчал, и опять нахлынула тишина – мертвая, звенящая, зловещая. Филюша молчал и готовился к самому худшему. Но страшный человек вдруг спросил совсем неожиданное:

– Скажите, а вы сколько отсидели?

– Сто двадцать один год, – твердо ответил Филюша, глядя прямо в глаза упырю.

И вдруг он заметил, что в этих пустых глазах затеплился огонек. Только не зеленый, как на допросе, а скорее аметистовый, как когда-то у матушки.

– В одиночке?

– В одиночке.

Дзержинский потер бледный лоб и вдруг заговорил глухо и быстро:

– А я всего одиннадцать лет. Из них в одиночке два. В Варшаве, в цитадели. Там из окна почти ничего не было видно, только неба немножко. Я от этого неба чуть опять в бога не уверовал...

– А я и без неба уверовал, – твердо сказал Филюша.

Председатель помолчал, а потом продолжил отрывисто:

– Каждый день товарищей на казнь уводили... А теперь я сам приговоры подписываю...

Красным пером... А как же иначе? Иначе нельзя. Гидра-то нагнет с каждым днем. Кто защищает счастье будущей России? Кто?

Филюша ничего не ответил.

Тишина вернулась.

– А тебя как зовут? – вдруг совсем просто спросил Дзержинский.

– Фелицитат.

– Фелицитат. Счастливый... Я тоже счастливый. Феликс.

Он криво улыбнулся, а потом вдруг потянулся к клетке.

* * *

В этот утренний час редкие прохожие, обходившие стороной страшное здание бывшего градоначальства, стали жертвами массовой галлюцинации. Они видели, как на последнем этаже со стуком распахнулось окно, и в небо взмыла радужная жар-птица. Крутясь, как огненный шар, она неслась навстречу зимнему солнцу и орала истошным голосом:

– Либер-рте!

Внутренний мир

Мишель Серру, с сочувствием

Микроб Гриша заболел. Весь день у него ломило жгутики, и нуклеотид колотился как бешеный.

Всю свою небольшую жизнь – три дня – Гриша прожил на яблоке, большом зеленом яблоке сорта антоновка. Это немытое яблоко лежало в стеклянной вазе на столе уже пять дней, и за это время на нем собралась большая и дружная компания. Микроскопические растения, животные, грибы, водоросли, бактерии – все жили мирно и весело, никто никого не ел, на всех хватало зеленого яблока. Даже тупые вирусы и злые паразиты, иногда попадавшиеся среди обычных микробов, держались скромно и не нарушали идиллию. Гриша выделялся среди своих родных и друзей пытливым умом и приветливым нравом. Встречая нового микроба, он обязательно спрашивал, как его зовут, какого он штамма и давно ли поселился на Зеленой планете (так микробы называли свое яблоко). У него было много друзей. Они вместе совершали восхождения на вершину яблока, где находились Большой Кратер и Кривое Дерево, купались там в капле воды, называвшейся Озером, и играли в игру «Нас не догонят», очень популярную среди российских микробов.

Но еще ближе, чем с микробами, Гриша сошелся с червяком Пал Иванычем, который жил внутри яблока. Пал Иваныч был единственный червяк на всей планете, уже немолодой и одинокий. У него было все, что нужно в старости – большой дом и вдоволь пищи, но он скучал, и потому был не прочь поболтать, хотя бы и с микробами. Гриша часто подолгу сиживал на краю дырки, ведущей во владения Пал Иваныча, и слушал рассказы старого червяка о его яркой жизни.

День, когда Гриша заболел, был ясный, солнечные лучи весело резвились в стеклянной вазе, и все Гришины друзья-микробы отправились купаться на Озеро. Гриша пошел было вместе с ними, но по дороге вдруг почувствовал, что дальше идти не может. Не желая волновать товарищей, он потихоньку отполз в сторону и присел отдохнуть неподалеку от пещеры Пал Иваныча.

День был так хорош, что Пал Иваныч тоже вылез до половины из своей норы и с усмешкой наблюдал за играми юных микробов.

– Ну шо, Гриня, чего нос повесил?

Пал Иваныч был родом из Ростовской области, откуда, собственно, и привезли зеленое яблоко, и букву Г он произносил по-южному, почти как Х.

– Заболел я, дядя Паша, – ответил микроб упавшим голосом.

– А шо такое?

– Общий упадок сил. Вялость, апатия, жгутики подгибаются. Наверно, заразился чем-то...

– Да чем тебе заразиться, ты же сам зараза?

– Я не зараза, дядя Паша. Я микроб чистый, почти стерильный, принадлежу к условно-патогенной флоре.

Гриша был потомственный петербуржец. Его предки были случайно выведены в Петербургском Институте Гриппа, и потому выражался он очень культурно, иногда даже по-научному. Он вовсе не считал себя одноклеточным.

– Ишь ты, к флоре. Козявка пузатая. И шо это за флора такая условная?

– Это значит, что пока я один – я не вредный. А вот если меня обидеть, то я начну лавинообразно делиться, и тогда держись все живое!

– Вона как. Хорошо вам, микробам – сами собой делитесь. И баба вам не нужна...

И Пал Иваныч вздохнул.

– Заболел, говоришь? Ну ничего, Григорий, ты не журишь, сегодня нас всех вылечат.

– Как вылечат?

– Большой день сегодня, Гришенька. Сегодня нас есть будут.

– Как есть?

– Да так, есть. Яблоко вон уже пятый день в блюде лежит. Какая ж хозяйка такое потерпит? Да будь я тут не один – от яблока бы одно название осталось. Сегодня и съедят. Но ты не бойсь. Вам, микробам, в организме еще лучше, самый ништяк. Все болезни как рукой снимет. Организм – он специально для вас выдуман, чтоб вы его принимали вместо лекарства.

– А вы? А как же вы-то, дядя Паша? Вам разве можно туда?

– Да можно, можно... Только не люблю я в организме жить. Я червяк вольный! Но ты за меня не переживай, мне не впервой. Я там долго не задержусь. Мне главное – через зубы пройти. А потом я ход знаю.

– Да какой же там ход?

– Э, брат, все тебе скажи. Есть там одна заветная дверка. Оно, конечно, к ней еще пробиться надо, но ради свободы чего не сделаешь.

– А почему вы сейчас не сбежите, пока яблоко еще не съели?

– А чего мне бежать? Не надо мне бежать. Побегал я за свою жизнь, брат Гриня, и понял одну штуку: от судьбы не уйдешь. А жизнь – она такая. Ежели бояться не будешь, то повиляет-повиляет и сама на волю выведет. Раньше или позднее. Да и потом, понимаешь, скучно же в яблоке всю дорогу сидеть, на всем готовеньком. Зачахнешь тут, захворашь...

– Это точно. Жизнь скучна, когда боренья нет... А вы, значит, уже были в организме?

– Да считай раз пять.

– И как там? Не страшно?

– Ну, мое дело насекомое, всякое случиться может. А тебе-то чего бояться? Ты микроб, тебя на зуб не возьмешь. Зубная паста там, конечно, случается анти... антибаки... ну, в общем, против вашего брата. Но это редко. А боле ничего.

– Есть еще фагоциты.

– А это кто?

– Убийцы микробов. Звери настоящие.

– Ну, авось не встретишь. А попадешь в организм – считай, что квартиру в новом доме получил, да не квартиру, а целый дворец. Выбирай любое помещение для жительства. Хочешь – в печенках поселяйся, хочешь – в почке, а хочешь свободы...

* * *

Он не договорил. Зеленая планета вдруг раскололась почти пополам. Гриша успел увидеть, как разверзлась, втягивая в себя пол-яблока и его самого, багровая бездна. Огромные белые клинки начали со страшным лязгом крушить яблочную мякоть на мелкие части. Гибкая поверхность, широкая, как спина кита, поднялась откуда-то снизу и стала давить из яблока сок. Сок смешивался с тягучей и сладкой жижей и заливал все вокруг.

Гриша уцепился дрожащими жгутиками за выступ в потолке и с ужасом смотрел, как его планета медленно превращается в белую текучую массу. Вдруг что-то дрогнуло внутри организма, и часть размельченной массы двинулась вглубь. Потом масса остановилась, и клинки продолжили свою жуткую работу.

Ему казалось, что все уже кончено, что он умер, и страшный мир только снится ему. Он зажмурился, съежился, и в этот момент вдруг услышал совсем рядом родной голос:

– Григорий, ты жив?

– Жив, жив, Пал Иваныч! Я здесь!

– Ну, слава богу! Ты за меня держись. Главную погибель проскочили. Сейчас опять ворота откроют, потечем вниз.

– Погодите, дядя Паша. Отдышаться мне надо.

Гриша чувствовал такую слабость, что еле держался за Пал Иваныча.

– Ну шо с тобой делать? Ну давай хоть поглубже за бугор спрячемся.

Они забрались поглубже и притаились.

Внизу был вход в красивую полукруглую пещеру. Мощные розовые арки уходили вниз, в темноту. Перед воротами, как назвал вход в пещеру Пал Иваныч, теснились, словно льдины на реке, недожеванные куски яблока.

– Красиво, да?

– Красиво, Пал Иваныч. Только плохо мне. И страшно.

– А ты не бойсь и дыши глубже. Сейчас твой упадок проходить начнет.

И действительно, с каждым мгновением Гришина слабость куда-то исчезала. Казалось, сам воздух внутри организма был целебен для здоровья микроба. Очень скоро он почувствовал, что почти готов к походу.

– Ну шо, Гришенька, остаешься в организме? – спросил Пал Иваныч. – Вишь, тут тебе самая атмосфера.

– Нет, дядя Паша, – твердо ответил микроб. – Я с вами пойду. Хочу на волю, к новому яблоку.

Пал Иваныч поглядел на него, и в его взгляде Гриша почувствовал уважение.

– Ну, раз так, то двинулись – вперед и ниже. Но смотри, потом не ныть. Путь нам предстоит нелегкий.

– Я выдержу, Пал Иваныч!

* * *

Медленно и осторожно они начали спускаться в пещеру. Теперь, когда последние куски яблока провалились вниз, ворота оказались полуоткрыты, и в них медленно втекала сладкая влага. Друзья погрузились в нее и поплыли.

– А что там, наверху? – спросил Гриша, глядя на медленно проплывающую над ним арку.

– Твердое небо. А за ним носоглотка.

– А еще выше что?

– Там, Гриня, дорога к храму. Мозги там. Но мы с тобой к храму не пойдем. Нам свобода нужна, а не храм. И потому путь наш в другое место лежит. Так что давай шевели отростками, а то скоро нижнюю дверь закроют.

И тут перед ними открылся огромный зал. Где-то впереди смутно белели куски яблока. Белые пятна теснились у небольшого проема и быстро, одно за другим, исчезали в темноте. Завидев цель, Пал Иваныч сразу прибавил ходу. Гриша устремился следом, но слабость все еще давала себя знать, и он все время отставал. Они не успели совсем чуть-чуть. Последний кусок яблока протиснулся внутрь, и дверь захлопнулась прямо у них перед носом.

В ту же секунду в полу распахнулась дыра, и туда со зловещим свистом стал уходить воздух. Пал Иваныч вжался в стену возле двери, а Гриша забился в пространство между стеной и червяком и всеми жгутиками вцепился ему в хвост.

Ветер становился все сильнее, это был уже настоящий ураган – и вдруг все разом стихло, так же внезапно, как началось. Наступило небольшое затишье, а затем воздушный поток поменял направление. Теперь он рвался наружу и уходил в верхние ворота. Потом все повторилось. Ветер дул попеременно в разные стороны, то достигая ураганной силы, то затихая, а Гриша ежился от холода, дрожал от страха и жался к своему другу. Старый червяк сохранял полное спокойствие и только ворчал:

– Обожрался, скотина, теперь отдышаться не может. Даже яблоко кусить лень. А мы тут жди на ветру. Ну, ничего, Гриня, ты терпи, делать нечего. Такой в этом месте закон природы: кто не успел – сиди в глотке, пока новая порция яблока не приедет. Вот тогда он живо двери открывает.

– Дядя Паша, а что там будет, за дверью?

– Тоннель. Как только пролезем туда, ветер сразу и кончится. Ты не вешай нос.

– Да нет у меня никакого носа, – сказал Гриша, приободрившись. – А что за тоннель-то? Длинный?

– Это смотря с чем сравнивать, – важно ответил Пал Иванович. – Вот ежели, скажем, со слонем, то тьфу, плевое дело.

– Так вы и в слоне были? – изумился микроб. – Расскажите, дядя Паша! Пожалуйста!

– Да шо тебе рассказать?

– Ну, какая у него анатомия, у слона?

– Какая-какая... Слоновья. От самого хобота и до воли кишка идет. Километров десять. Ползешь, ползешь, пока не проклянешь все на свете. Хоть жить там оставайся. Многие и оставались, пути не выдерживали...

– А как же вы туда попали?

– Да по глупости, молодой тогда был. В Ростове дело было, в зоопарке. Я тогда в груше решил поселиться. Польстился, понимаешь, на грушу. Сладкая, сочная, восемь пятьдесят кило на старые деньги. Кто ж знал, что такую грушу слону кормят? С тех пор – ни-ни, яблокам не изменяю.

Гриша был так поражен рассказом, что забыл об опасности и вылез Пал Ивановичу на спину. Он хотел спросить, что было дальше, на воле, но тут ветер снова стал дуть внутрь организма, и его чуть не унесло в пропасть. Гриша распластался на спине червяка и замер.

– Ты чего, Григорий, ума лишился? – говорил Пал Иванович, придерживая его хвостом. – Вот ухнешь в поддувало – и все, поминай как звали микроба. Ты чего?

Ветер затих. Гриша юркнул в щель между стеной и червяком, встряхнулся и сказал с достоинством:

– А это вовсе не поддувало. Это называется трахея.

– И откуда ты только слова такие знаешь? – удивился Пал Иванович.

– Ну... Я ведь только так, теоретически, – сразу смутился Гриша. – Дядя Паша, а вас туда не затянет, в эту... в трахею?

– Случалось и такое, – спокойно ответил червяк. – Но ты за меня не переживай. Меня оттудова сразу назад выкашляет. А вот ты, если что, там до конца жизни останешься, понял?

Грише стало стыдно, что он похвастался своим культурным багажом. Он уже понимал, что без опыта Пал Ивановича его знаниям грош цена.

Снова наступила пауза, а потом ветер задул с удвоенной силой, и все вокруг быстро заполнилось едким удушливым дымом. Пал Иванович закашлялся.

– Закурил, гад, – сказал он, с трудом переводя дух. – И табак какой едреный! Организм-то наш, видать, самец.

Гриша никогда не курил и, как всякий микроб, не любил запах табака. Он снова почувствовал слабость, но решил не подавать вида. Ему хотелось расспросить подробнее, почему организм самец, но тут, наконец, сверху хлынул мощный яблочный поток. Проклятое трахейное поддувало, словно испугавшись, мигом захлопнулось, а дверь распахнулась перед ними настезь.

– Вперед! – закричал Пал Иванович. – Шустрей давай! За хвост держись!

Яблочная масса с дикой скоростью неслась в тоннель. Гриша мертвой хваткой вцепился в хвост, Пал Иванович сделал мощный рывок, ввинтился на ходу в последний кусок яблока, и они влетели внутрь. Позади хлопнула тяжелая дверь.

* * *

В тоннеле оказалось очень хорошо: тихо, безветренно, спокойно. Небольшая смирная речка подхватила их и, довольно журча, понесла вниз по течению. Стены здесь были влажными и подвижными: они сокращались волнами, словно помогая ленивому потоку, и проталкивали путешественников все дальше и дальше в неведомый мир.

Гриша быстро освоился в новой обстановке и стал проявлять любознательность.

– Пал Иваныч, а вот интересно, что там за стеной?

– Легкие проходим, – ответил всезнающий червяк. – В этом цеху воздух в кровь загоняют. Вот кабы сквозь стену можно было посмотреть, ты б увидел, какого они цвета...

– А какого?

– Да зеленые они все от курева! Эти организмы – они же сами себе могилу роют. Особенно мужики. Ежели в самку попадешь, то еще ничего. Они теперь тоже смолят будь здоров, но хоть не такую дрянь. А уж если не дай бог в наркомана занесет – пиши пропало. Там и останешься. Только о себе думают.

– Ох, не случайно мне этот дым не понравился, – вздохнул микроб.

– Еще бы.

Тоннель постепенно сужался и дорога становилась все хуже. Речка обмелела, течение прекратилось, и им приходилось преодолевать сухие участки ползком. Гриша слез с хвоста и шлепал за вольным червяком на подгибающихся жгутиках, изо всех сил стараясь не отставать.

Как только они достигли самого узкого места, все вокруг вдруг содрогнулось. Стенки сократились так резко, что чуть не придавили Пал Иваныча.

– Икота!! Держись, Григорий! Со всех сил цепляйся!

Они уцепились за какую-то кочку и замерли. Мощные толчки повторялись через неровные промежутки времени.

– Дядя Паша, долго это еще будет? – дрожащим голосом спросил микроб.

– Этого никто не знает. Если организм не дурак, то водички попьет и дыхание задержит. Тогда тихо-мирно дальше поплывем.

– А если дурак?

– А если дурак, то можем до вечера тут просидеть.

– Я не могу больше! Я сейчас делиться начну!

– Эй, Григорий, а вот эти шутки ты брось! Я ведь тоже живой – что же, ты и на меня своих мымров напустишь?

Грише стало стыдно. Как он мог даже заикнуться о делении?! Ведь тогда не только организм, но и Пал Иваныч оказался бы в смертельной опасности. А разве Пал Иваныч не спас ему жизнь еще там, наверху, и разве он не ведет его к свободе? И разве есть у Гриши другой такой друг и учитель?

Толчки внезапно прекратились.

– Держись, Гриня, сейчас вода пойдет!

И действительно, не успел старый червяк договорить этих слов, как тихая речка превратилась в бурный поток. Вода бушевала и пенилась, обтекая спасительную кочку, а Гриша, зажмурившись, всеми жгутиками и ворсинками цеплялся за скользкую поверхность.

– Уф, пронесло! – услышал он наконец голос Пал Иваныча.

Гриша огляделся и увидел, что вода схлынула. Речка стала чистой и прозрачной.

– Значит, умный организм оказался, – сказал червяк, отряхиваясь. – Ну все, поплыли. Теперь у нас самое пекло впереди.

– А что такое?

– Сейчас, значит, еще одна дверь будет, а сразу за ней – мешок. Вот там мне хуже всего придется. Тебя-то хрен переваришь, а от меня, если в мешке часок посидеть, одна слизь останется.

– Химус по-научному, добавил Гриша.

– Ох, образованный ты микроб, Гриня, только жизни ни фи́га не знаешь. Химус не химус, а тикать оттуда надо будет по-быстрому.

– А потом?

– А потом еще хуже. Контрольно-пропускной пункт.

– Что-что? – Гриша очень удивился.

– Когда из мешка выходишь, там привратник сторожит.

– По-научному тоже привратник.

– Вот этого научного привратника и надо пройти.

– А если привратника пройдем, что будет?

– Новые приключения, Григорий.

* * *

Без всяких происшествий они добрались до конца тоннеля и увидели впереди широко распахнутые ворота. Поток забурлил и понес их на простор. Вверху стремительно пронеслась какая-то арка, а потом у них за спиной захлопнулись ворота – так резко, что Гриша всей мембраной почувствовал: дороги назад не будет.

В желудке, или мешке, как называл это место Пал Иваныч, творился сущий ад. Кипела масса, в которой было уже не различить родного яблока. Стаи микробов – злых, совсем не таких, к каким привык Гриша на Зеленой планете, – носились взад-вперед с деловым видом. Грише показалось, что среди них пару раз мелькнули страшные мордатые фагоциты. И атмосфера здесь была какая-то кислая, неприятная, как на рынке.

Гриша растерялся.

– Ты, Гриня, главное, хвост не отпускай. А куда здесь плыть, я знаю, – услышал он уверенный голос.

Пал Иваныч был червяк крошечный, почти микроскопический, но Грише он казался чудо-богатырем. Уцепившись за хвост, он зажмурился и во всем положился на своего друга. Пока они пробирались через мешок, Гришу десятки раз задевали разные микробы, на него брызгал противный желудочный сок, он был по всей поверхности облеплен какой-то липкой дрянью. Он натерпелся такого страха, что чуть не отдал богу свою маленькую душу.

– Григорий, – услышал он наконец голос Пал Иваныча. – Жив ты там? К привратнику подходим. Ты спрячься подальше там, под хвостом.

Гриша забился подальше, но его томило любопытство, и он украдкой выглянул наружу. Они стояли возле очень узкой, плотно прикрытой двери.

– Твóрог или творóг? – спросил из темноты воинственный голос.

– Йогурт! – с достоинством ответил Пал Иваныч.

– Хм. Откуда пароль знаешь?

– Так ведь не в первый раз.

– Как сюда попал?

– Яблочник я.

– А кто это там у тебя под хвостом заховался?

– Мальчишка со мной.

– Так бы сразу и говорил. А то прятаться. У меня и микроб не проскочит. Выведем вас отсюда через верхние ворота, будете знать.

– Ну зачем же организм беспокоить? Мы народ тихий, сами выберемся себе потихонечку через нижние. Никому никакого ущерба не будет.

– Хм. А микроб не вредный?

– Нет, нет! – поспешил вмешаться Гриша. – Я даже полезный, из условной флоры!

– А раз полезный – сиди в желудке, нам такие нужны.

– Я условный! – закричал Гриша. – Я могу делиться начать! Мне нельзя тут долго! Держись все живое!

– Ну ладно, ладно, проходите.

Дверь приоткрылась, и Пал Иваныч скользнул в тоннель.

– А ловко ты его, Григорий, пуганул. Вот не ожидал от тебя. Молодцом, паря!

Гриша приободрился. Услышать такой комплимент от самого Пал Иваныча было все равно, что получить медаль. Он окончательно вылез из-под хвоста и устроился у него на спине.

* * *

Они опять были в тоннеле, но только теперь речка стала совсем другой – это была не жидкость, а медленная вязкая масса. «Химус», – догадался Гриша. Со стенок в речку стекали какие-то капли.

– Пал Иваныч, а что это в речку капает? Как будто сок опять, как в желудке. Вас не переварит?

– Ну, этот сок не страшный. Только смотри, стенок не касайся. Там самая железа.

Вдруг в боковой стене показалось отверстие, и из него брызнула на них какая-то едкая жижа. Мелкие твари, размером не более Гриши, выскочили из нее и ринулись к ним, пытаясь вскарабкаться на Пал Иваныча. Но тот мощно ударил хвостом и быстро ушел вперед.

– Это, брат Гриня, секреты поджелудочной железы. Расщепить нас пытались. Да только куда им! Секреты ихние мы все знаем. Ты не бойсь.

– А я и не боюсь, дядя Паша. Мне с вами ничего не страшно!

Они проплыли еще немного, и тоннель стал постепенно сужаться.

– Тощие кишки пошли, – сказал Пал Иваныч. – Ну, тут можно отдохнуть. Качайся на волне, Григорий, наблюдай жизнь. Ишь, стенки какие гладкие!

– А тут атмосфера совсем другая, дядя Паша. Там было кисло, в мешке, а тут, видимо, щелочная среда.

– Ну, тебе видней, как оно называется, ты у нас ученый. А по мне это, считай, как контрастный душ.

– Мне тоже нравится. Только химуса много.

– Химус что. Вот дальше увидишь, что будет.

– Да я вообще-то знаю, что будет, теоретически. Фекальные массы.

– Во-во, массы.

Гриша понимал, что его другу приходится гораздо тяжелей, чем ему. Самого Гришу кишечная атмосфера не трогала, она ему даже нравилась. Он оглянулся по сторонам и на минуту задумался – а правда, не остаться ли здесь пожить? Но потом вспомнил желудок, жуткие морды фагоцитов и решил, что нет, никогда. «Вот выберемся с Пал Иванычем, найдем яблоко... – мечтал он. – Зеленое, большое... Хорошо бы дикое где-нибудь в лесу, на высокой ветке, чтоб его организм не съел... И заживем...»

Тоннель вдруг снова расширился.

– Слепая кишка, – мрачно сказал Пал Иваныч.

– А почему она слепая?

– А кто ж ее знает? Тут ослепнешь. Чувствуешь атмосферу-то? Сейчас в самые массы и попадем. Ты зажми нос.

– Да нет у меня носа, Пал Иванович!

– Эх, все-таки хорошо вам, микробам...

Течение замедлялось, тоннель быстро заполнялся вязкой материей. Дышать было нечем. Пал Иванович все тяжелее втягивал воздух и в конце концов стал задыхаться. Гриша чувствовал, как напрягаются кольца старого червяка, как все дрожит у него внутри. Грише стало страшно и обидно за учителя. Пережить конец света, потоп, ураганные ветры, отравляющие газы, землетрясение, адскую мясорубку желудка – и утонуть в фекальных массах? Какая судьба! И это судьба того, кто пять раз проходил через весь организм, кто прошел самого слона! Гриша чуть не плакал, глядя на своего друга, его мембрана едва не разрывалась от жалости.

– Держитесь, Пал Иванович! Я с вами!

И в этот момент раздался взрыв, и в конце тоннеля блеснул яркий свет.

– Жопа! Жопа! – вскричал Пал Иванович.

В Гришином лексиконе не было такого слова. Но он сразу понял: это слово значило «свобода». Так кричали древние воины, завидев море после долгого перехода по пустыне: «Таласса, таласса!» А матросы Колумба, намучившись в морях, тоже кричали, только наоборот: «Земля, земля!»

Воздушная струя понесла их на волю. Помятые, уставшие, но не побежденные и не переваренные, они были выброшены из кишечника навстречу новой жизни.

Барсучья нора

Митя Барсук был поэтом...

Но до чего все-таки обманчивы все эти слова: «поэт», «писатель», «писать» и им подобные. Скажешь «писатель» – и сразу видишь человека (а кстати, почему именно человека? есть много книг, написанных не иначе, как барсуками), который сидит за письменным столом, украшенным стаканом чая. Это писатель. Будучи писателем, он занят процессом письма. Он выписывает письменными принадлежностями письма на писчей бумаге. Работает не отрываясь, иногда только морщит лоб, подносит к нему перо и задумывается. Закончив поэму или там сказку, отхлебывает остывшего чая. Потом перечитывает манускрипт и начинает переписывать набело.

Все в этой картинке неправда. На самом деле писатель, даже если он человек, не столько пишет, сколько мечется по своей норе, как сумасшедший барсук, и при этом бормочет себе под нос очень странные слова. Все писатели – скрытые барсуки. А поэты – явные, самые настоящие.

Поэт Митя был настоящий барсук.

Будучи настоящим, с хорошей родословной, барсуком, он всю жизнь прожил на одном месте. Meles-meles, как называли эту славную полосатую зверюшку древнеримские барсуковеды, вообще самый оседлый народ. Многие барсучьи города возникли тысячи лет назад, и нынешнее поколение их жителей возлежит все в тех же комфортабельных норах, что и их предки, современники Будды. А отчего бы им не возлежать? Врагов среди зверей у них почти нет, а царь природы – человек с ружьем – при слове «барсук» только кривит свой мужественный рот. И его можно понять: барсук, двоюродный дядя скунса, имеет с тыла такие две железы, от которых трудно не скривиться. И если бы не вредный предрассудок насчет барсучьего сала, которое якобы помогает при болезнях легких, да не подлый обычай чистить сапоги щетками из барсучьего меха, то мелеса-мелеса все бы давно оставили в покое.

Митя родился и вырос в одном из древних барсучьих городов, на берегу живописного озера. От родителей он унаследовал прекрасную квартиру – трехкомнатную, с пятью выходами, на третьем подземном этаже, в весьма престижном районе под столетним дубом. Правда, для писателя такая оседлость была не слишком благоприятна – жизнь Митя знал очень избирательно. Но он не переживал: вдохновение, говаривал он, и еще раз вдохновение. И, поднявши глаза к дубу, шмыгал своим чувствительным носом.

В квартире Митя проводил весь день, выходя за едой только после захода солнца. Тут надо сказать, что он был вегетарианцем. Мышей не ел, птиц только слушал по вечерам, подперев щеку лапой, а на лягушек даже смотреть не мог от жалости. Древний барсучий обычай – похвальба на рассвете, кто сколько за ночь сожрал лягушек – вызывал у него искреннее негодование.

– Сядут на толстые зады, – возмущенно говорил он очередной жене, – и давай: «А я двадцать! А я сто!» Живоглоты! Тупицы! Но придет наше с тобой время! Взойдет заря новой жизни! Скоро все поймут истину беззубойного питания!

– Да ты бы не мучился так, Митечка, – вздыхала жена. – Пусть их жрут, что хотят. Ты у меня такой славенький...

Сам Митя с юных лет предпочитал фрукты, грибы и орехи. И зад у него поэтому был совсем не толстый, а очень аккуратный, с приятным белым хвостиком. Этот хвостик очень нравился девушкам.

– Какой у вас сзади эротичный предмет, – говорили девушки.

– Ну что вы, право, – смущался Митя, – предмет как предмет.

Брак – самое сложное дело в жизни барсука. Барсуки моногамны, и редкий барсук бывает счастлив в семейной жизни.

Со своей первой женой Митя познакомился на вечерней прогулке. Стоял ласковый май, то золотое для барсуков время, когда озерные лягушки совокупляются в прибрежных зарослях и еще не окрепшими голосами бурно выражают свои чувства. В тот вечер среди озерного населения царил подлинное единство. Послушать лягушек собрались не только местные меломаны – барсуки, лисицы и выдры, – но прибыли и редкие гости: целая делегация сычей, два аиста, и даже явился один кот домашний, проживавший в человеческом поселке за двадцать километров от озера.

Однако Митю лягушачий джаз только раздражал, а вид собрания живоглотов навевал самый черный пессимизм. Он был голоден, печален и одинок. Найти пищу в это время года для него было совсем не просто, а перспективы исправления нравов лесных жителей казались совершенно бесперспективными.

Митя уселся на свой замечательный хвостик и пригорюнился, глядя в воду. Вода отражала юную морду со следами страданий у глаз и стройное пушистое тело серовато-коричневого оттенка.

И тут появилась она. Она была совершенно восхитительна: миниатюрна, молода, мило видна. Хотя, пожалуй, несколько приземиста. Шла она с большой кошелкой.

– Ой, я вам не помешаю?

– Ну что вы, что вы... – отвечал Митя церемонно.

– А я тут прошлогоднюю бруснику собираю. Люблю очень сладкое. Хотите?

– Спасибо, с удовольствием.

– А вы так романтично грустите. А чего вы на концерт не пошли?

Митю передернуло.

– Потому что поедать живых существ – все равно, что есть самого себя! Потому что мир рушится от живоглотства! Потому что всем пора понять, что у мясоедения нет будущего! Потому что я барсук, понимаете, барсук! Мелес-мелес!

– Ой, как вы здорово говорите. А как вас зовут?

– Дмитрий.

– Дмитрий... Как романтично... А я – Мила. Просто Мила.

Вскоре они поженились.

Вдохновение накатило на Митю через месяц после свадьбы. Однажды утром Мила проснулась от странных звуков и увидела, что муж мечется по комнате. Он тыкался носом в дальний правый угол, разворачивался, бежал в левый ближний, тыкался носом туда и неся обратно. При этом он бормотал нараспев очень странные слова:

– Мелес-мелес, умеешь ли, мелес, услышать свой мелос? Мелос, мелодия мела зимой, когда метит метель тебя, мелес...

– Что ты мелешь? – в ужасе спросила Мила.

Митя резко затормозил посреди комнаты и посмотрел на нее без всякого выражения, как коза в кинокамеру.

– Милый, что с тобой?

– Не мешай! – заорал вдруг барсук. – Ты что, не видишь? Я сочиняю!

– Ты писатель?

– Нет! Я мелический поэт!

Таких слов Мила не знала. Она всхлипнула, схватила кошелку и выбежала из норы. Побродив часа два по лесу, она вернулась с ягодами и увидела, что все было по-прежнему: Митя бегал из угла в угол и бормотал.

Мила выдержала только полгода такой жизни. Поначалу она говорила себе: может, он гений – надо терпеть. Потом говорила: сволочь он, а не гений, но я же его люблю – надо терпеть.

Потом: я его не люблю, эту сволочь, но вдруг будут дети – надо терпеть. А Митя все бегал и бегал по комнате, и наконец настал день, когда Мила спросила себя: а надо ли терпеть?

– А надо ли терпеть? – спросила она вслух.

– Что? – остановился Митя.

– Ты погубил мою жизнь! – закричала Мила.

– Мещанка! – отвечал барсук.

Мила зарыдала в голос. Митя попытался продолжить процесс письма, но ничего не вышло – после каждой его пробежки рыдания Милы нарастали. Тогда он угрюмо сел в самом дальнем от жены углу и прислушался к ее горьким словам.

– ...как брошенная, – причитала Мила. – Ни ласкового слова, ничего. Целый день: «мелес, мелес», а ведь я сирота. И жрать с ним грибы эти. Я мяса хочу! Гад! Собака норная!

Митя слушал, пытаясь сдерживать свои порывистые чувства. Но терпения хватило ненадолго: в какой-то момент он заметил, что его короткие сильные лапы вдруг сами собой начали скрести земляной пол. «Что со мной?» – испугался Митя. Но тут же догадался: «Да я же рою новую нору!»

Через день нора ниже этажом была готова. Она, конечно, не шла ни в какое сравнение с родовым гнездом: комната была одна, а выходов – только два, но Митя был доволен – здесь никто не мешал ему заниматься любимым делом. Правда, разбег был поменьше, и потому строчки получались короче, но это ему даже понравилось:

– Я вхожу в новый период, – решил он. – Назову его «Камерная мелика».

Кроме малых габаритов, в новой квартире было еще одно неудобство: в потолке оставался выход в прежнюю жизнь, и иногда Мила, движимая женским состраданием, просовывала морду к Мите и озабоченно спрашивала:

– Ты не проголодался?

Но Митя, у которого вдохновение теперь не проходило никогда, сразу начинал истошно орать, и Мила поспешно исчезала. Постепенно она смирилась с потерей мужа и перестала появляться на его территории. Только иногда сверху падали яблоки и сушеные грибы. Барсук поглощал их автоматически, не интересуясь, откуда они взялись и что значат.

Так длилось долго, до тех пор, пока однажды ночью Митя вдруг не почувствовал адский голод. Он остановился, оглядел грязную нору и обнаружил, что еда сыпаться перестала, и, видимо, давно.

Он поднял морду вверх и прислушался. Милы было не слышно. Зато в тишине отчетливо прозвучал мужской голос:

– А вчера пятьдесят сожрал!

«Уже утро, – понял барсук. – И она вышла замуж».

Митя высунул нос в прежнюю жизнь и огляделся. Открывшаяся ему картина оказалась настолько невыносима, что он чуть не свалился вниз. На его любимом ковре из зеленого мха живописно раскинулся толстозадый живоглот по прозвищу Приходил. Скотина ковыряла в зубах лягушачьей лапкой.

Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Приходил сплюнул лапку на ковер и лениво сказал:

– Ну.

Митя почувствовал, как закипает его благородная кровь.

– Это моя квартира! – категорически заявил он.

– А еще чего? – лениво спросил узурпатор.

– Тут жили мои предки тысячу двести лет!

– Да? А попрыгать?

Митя опешил. Кровь звала в бой, но разум приводил весьма увесистый аргумент против – необъятный зад конкурента. Силы были явно неравные.

Внутренняя борьба длилась недолго, а внешней Митя как-то даже не заметил. Он просто очнулся на полу ниже этажом и еще успел услышать слова победителя:

– И не дай бог твое рыло...

Но что именно не дай бог рыло, Митя так не узнал, потому что толстозадый завалил ход в квартиру бывшего мужа здоровенным камнем.

«Ну и ладно, – подумал Митя. – Завалил так завалил. Завалил меня барсук. Барсук как барс... Как барс... Барсук...»

Но слова не шли. Поэтические озарения стремительно убегали в оба оставшихся выхода, а на их место вползали черные мысли. Митя вдруг заметил свое одиночество, неприбранную нору и впервые подумал, что молодость, наверное, прошла.

Он вылез наружу и пошел к озеру. Подступала осень, и столетний дуб уже начал свое желтое дело. Митя сел на том же месте, где когда-то встретил Милу, и заглянул в воду. Вода отразила грустную средних лет морду и отяжелевшее сероватое тело. Лягушки молчали, было тихо.

И тут появилась она. Она была восхитительна: совсем юная и юркая, как юрок. Хотя, пожалуй, несколько приземистая. Шла она с небольшой кошелкой.

– Ой, я вам не помешаю?

– Мне нельзя помешать, я ничего не делаю, – рассеянно отвечал Митя.

– А я тут грибы собираю. Люблю их очень.

– Правильно. Хочешь мяса – сорви гриб, – привычно поддержал барсук. Он говорил, но не слышал сам себя.

– Так я уже сорвала. Хотите?

От этих слов Митя вдруг почувствовал резь в животе. Он схватил самый большой гриб, жадно впился в него зубами, но тут же выплюнул. Это была зеленая поганка.

– Ой! – сказала она. – Вечно я путаю. Никак не могу запомнить, какие хорошие, а какие нехорошие.

– Я тебя научу, – сказал Митя.

– Правда? Вот здорово! А как вас зовут?

– Дмитрий.

– Дмитрий... Как здорово! А я Юля. Можно Юлечка.

Через неделю они поженились, через две недели Митю посетило вдохновение, а через три он услышал тихий плач.

– Я так больше не могу, – всхлипывала Юлечка. – Ты губишь мою молодую жизнь!

– Почему?

– Потому что я хочу жить! Я хочу гулять по берегу озера, собирать грибы и ягоды, слушать лягушек, играть в попрыгушки. И все это вместе с тобой, любимый! И еще я очень хочу мяса.

Митя уже где-то слышал эти слова. Он почувствовал острый укол совести. И от этого укола его короткие, все еще сильные лапы вдруг сами собой начали скрести земляной пол.

Третья квартира оказалась еще меньше второй и всего с одним выходом, но Мите было уже все равно: он теперь совершенно пренебрегал бытовыми удобствами. С потолка, как и в прошлой жизни, иногда сыпались грибы и кедровые орехи, но среди грибов попадалось много поганных: все-таки Юля была неопытна по хозяйственной части. От поганных грибов Митин стиль приобрел новую высоту. Свой третий период он назвал так: «Мелика Тонкого Мира».

Тонкий мир чудился ему огромным парком, полным разных зверей. Это был настоящий рай безубойного питания: тут никто никого не ел, даже не пытался. Все жили в отдельных квартирах и непрерывно бормотали, подвывали, подскуливали. А Митин голос легко и свободно вливался в общий хор. Вот только почему-то увидеть этих зверей Мите никогда не удавалось.

Он только слышал их голоса, а видел всегда одно и то же: сетку с очень маленькими ячейками и за ней кусок зеленой стены. Станный это был мир.

Из этого странного мира, откуда он не вылезал по целым неделям, как-то сама собой явилась третья жена. Ее звали Ядвига-Элеонора, и она была причастна к искусству.

Откуда она все-таки взялась, Митя так и не понял. Просто однажды, съев гриб, именуемый в народе навозной лысиной, он вошел в тонкий мир и обнаружил там ее. Она сидела посреди его норы и смотрела горящими глазами куда-то вдаль – сквозь Митю, сквозь сетку, может быть, даже сквозь зеленую стену. Она была не слишком молода, не чересчур миловидна, далеко не миниатюрна, но в ней чувствовалась такая духовная сила, что Митю сразу потянуло к ней, словно магнитом. Он почувствовал себя рядом с ней каким-то приземистым.

– Я вам не помешаю? – робко спросил он.

Ее зрачки чуть сузились.

– Уже помешал. Ты помешал творчеству!

– Я помешал? Вы – сочиняете? Стихи сочиняете? А... прочитайте! Пожалуйста!

Незнакомка оторвала глаза от Мити, перевела их вдаль, потом свела зрачки поближе к носу и вдруг вся как-то забурилась, закипела изнутри:

– Мелес, мелес юбер аллес, мелес мене текел фарес... – выводила она натужным голосом.

Митя не верил своим ушам.

– Так это же мои стихи! Мелика тонкого мира!

– А где ты, по-твоему, находишься?

– В тонком мире?

– Ну да.

– А вы кто?

– Я – это я. Ядвига-Элеонора.

– Ты мое второе «я», не исчезай! – завопил барсук.

Ему хотелось сказать очень многое: что мир ловит его в свои сети, что он одинок, что за всю жизнь он не нашел никого, кто бы его понимал. Но язык не слушался.

– А ну-ка прочитай сам что-нибудь! – приказала Ядвига.

Митя ошарашенно посмотрел на нее, потом попытался свести глаза к носу. Это у него не получилось, и тогда он просто закрыл их и прислушался к себе. Внутри стояла мертвая тишина, изредка прерываемая кваканьем лягушек.

– Я ничего не помню, – испуганно сказал он. – Я почему-то все сразу забыл.

– Хорошо, я помогу тебе. Я останусь с тобой.

И действительно: когда Митя очнулся, Ядвига, как ни странно, сидела посреди его норы и смотрела невидящими глазами в сторону последнего выхода. Они стали жить вместе.

Поначалу вдохновение посещало поэтический союз в разное время, и они относились к творчеству второго «я» с полным пониманием. Но однажды их озарило одновременно, и это оказалось крайне неудобно. Они бегали каждый по своей диагонали и все время сшибались мокрыми и холодными носами. Но дело было совсем не в носах. Просто сочинять в условиях, когда рядом кто-то бежит, топает и бормочет, оказалось совершенно невозможно. Сами того не желая, они подхватывали на бегу друг у друга целые строчки, и эти строчки потом всегда оказывались самыми худшими. Митя мучился, вздыхал и даже тайком вспоминал непричастных к искусству бывших жен.

Бытовые неудобства быстро перерастали в споры об искусстве.

– Твоя мелика не мелична, а только мелодична, – говорила Ядвига.

– На себя посмотри, – огрызнулся Митя.

Диета последних лет изменила его характер: он стал груб и раздражителен.

– Но как же так? Ведь ты называл меня своим вторым «я»?! – возглашала она.

– Дурак был. Вторых «я» не бывает. У барсуков не бывает вторых «я».

– А что бывает у барсуков?

– Жены бывают.

– Я тоже ошиблась в тебе, Димитрий, – помолчав, сказала Ядвига. – Ты не гений.

– На себя посмотри, – бубнил барсук.

– Ты не гений. И тебе нужны новые источники вдохновения. Пора кончать с грибным образом жизни. Почему бы тебе не сходить на охоту?

Митя вздрогнул и замер, уставившись на нее. Он вглядывался в ее пустые блестящие глаза и чувствовал, как его ослабевшие лапы начинают сами собой скрести земляной пол. Митя напряг все силы, но вместо мягкой земли когти вдруг уперлись в гранитную плиту. Копать дальше было некуда.

Перед ним был последний выход. Он с трудом протиснулся в него и побрел к озеру. Недавно выпал первый снег, всходило солнце. Митя подошел к воде.

Вода отразила грустную старую морду, совершенно белую, и белое, бесформенное тело. Жизнь таяла на глазах, не оставалось ни надежд, ни стихов, но почему-то казалось, что самое главное – тот рай, что так часто снился ему, – все еще впереди.

Но главное было сзади. Два человеческих рыболова, стоя у него за спиной, уже давно с удивлением разглядывали белого барсука, а Митин нос, раньше такой чувствительный, их совсем не чуял.

– погоди, не бей! Смотри, он белый весь: альбинос!

– Да какой к хренам альбинос? Старый зверь, и все дела. Вишь, не чует – глухой совсем.

– Говорю тебе – альбинос. Михалыч, а давай его заловим, а?

– Да на хрена он кому нужен?

– А в зоопарк. Альбинос же! Бабки дадут.

– В зоопарк, говоришь? Ну, кидай, там посмотрим. Ты кидай, а я его бутылкой по башке все-таки огрею.

И Митю накрыла сеть.

Он дернулся, ухватился за нее когтями, рванул на себя, но в тот же миг почувствовал страшный удар, и белый снег перед его глазами сразу стал черным.

Митя еще не совсем очнулся, а в ушах у него уже зазвучали и стали стремительно нарастать волшебные звуки его любимых снов. Десятки звериных голосов бормотали, подвывали, подскуливали, повторяя свои имена и прозвища, и Митин внутренний голос радостно, словно пробудившись от долгой зимней спячки, вливался в общий хор.

Он открыл глаза. Как всегда в тонком мире, перед ним была сетка с очень маленькими ячейками, а за ней виднелся кусок зеленой стены.

– Ядвига! – позвал он.

Никто не откликнулся.

Митя оглянулся и увидел, что он здесь совершенно один. Он встал, неуверенно прошелся из угла в угол по норе, ставшей теперь совсем крошечной, потыкался носом в сетку, стены, пол, потолок. Все они оказались очень крепкими. Они были твердые и холодные, как гранитная плита в последней квартире. Митя огляделся по сторонам еще раз и вдруг сел на пол, разом все поняв.

Выхода в этой норе совсем не было.

И радость вдруг заволновалась в его груди. Теперь никто в мире не мог ему помешать! Митя легко вздохнул и поднял морду вверх – уже уверенный, что сейчас снизойдет озарение. Он немного посидел так, а потом вскочил на лапы, ставшие вдруг сильными и упругими, как в молодости, и быстро побежал по привычному маршруту – из дальнего правого угла в левый ближний и обратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.